

Предисловие

Густы Фучиковой

В концентрационном лагере Равенсбрюк я узнала от своих сокамерниц, что мой муж, Юлиус Фучик, редактор газеты «Руде право» и журнала «Творба», 25 августа 1943 года в Берлине был приговорен нацистами к смертной казни.

Вопросы о его дальнейшей судьбе эхом отражались от высокой стены вокруг лагеря.

В мае 1945-го после поражения гитлеровской Германии узники из ее тюрем и лагерей, которых фашисты не успели замучить или убить, были освобождены. Среди освобожденных оказалась и я.

Я вернулась на свою свободную родину. Стала разыскивать мужа. Как тысячи и тысячи тех, кто искал и ищет мужей, жен, детей, отцов и матерей, угнанных немецкими оккупантами куда-то в бесчисленные застенки.

Я выяснила, что Юлиус Фучик был казнен в Берлине на четырнадцатый день после приговора, 8 сентября 1943 года.

Также я узнала, что Юлиус Фучик писал в тюрьме Панкрац. Это было возможно благодаря надзира-

телю А. Колинскому, который приносил моему мужу в камеру бумагу и карандаш, а потом тайком, один за другим, выносил из тюрьмы исписанные листы.

Мы встретились с этим надзирателем. Постепенно я собрала рукописные материалы Юлиуса Фучика из его панкрацкого заключения, упорядочила исписанные и пронумерованные страницы, которые хранились в разных местах у разных людей, и теперь, читатель, я представляю их тебе.

Это последнее произведение Юлиуса Фучика.

Прага, сентябрь 1945 года

Сидеть, напряженно выпрямившись, уперевшись руками в колени и невидящим взглядом уставившись в пожелтевшую стену помещения для задержанных во дворце Печека, — это, конечно, не самая подходящая поза для размышлений. Но кто заставит сидеть навтыяжку мысль?

Кто-то когда-то давно — наверное, нам уже не узнать, кто и когда, — назвал помещение для задержанных во дворце Печека кинотеатром. Блестящее сравнение! Просторная комната, одна за другой шесть длинных скамей — и на всех неподвижно замерли люди, а перед ними — голая, похожая на экран стена. Все киностудии мира не сняли столько фильмов, сколько их спроецировали глаза задержанных в ожидании очередного вопроса, пытки, смерти. Целые судьбы и их мельчайшие эпизоды, фильмы о матери, о жене и о детях, о разоренном крове и об утраченной жизни, о храбром товарище и о предателе, о том, кому ты дал ту листовку, о крови, которая все льется и льется, о крепком рукопожатии — обязательстве; фильмы, полные ужаса и решимости, ненависти и любви, тревог и надежд. Оставив жизнь позади, каждый здесь изо дня в день переживал собственную смерть. Но не каждый рождался заново.

Сотню раз я видел здесь свой собственный фильм, тысячу раз — его эпизоды, и вот теперь у меня появился один-единственный шанс его рассказать. Если петля затянется до того, как закончу, останутся миллионы людей, которые допишут happy end.

Глава 1

Двадцать четыре часа

Еще пять минут — и часы пробьют десять. Прекрасный теплый весенний вечер 24 апреля 1942 года.

Спешу, насколько позволительно для пожилого, прихрамывающего пана, которого я изображаю, — спешу к Елинекам, пока подъезд не заперли на ночь. Там меня дожидается моя правая рука Клецан. Я знаю, что ничего важного он не сообщит, да и мне нечего рассказать, но если не явлюсь на условленную встречу, будет паника, а мне не хочется тревожить без нужды две добрые души — хозяев квартиры.

Меня встречают чашкой чая. Клецан уже ждет, а вместе с ним — и супруги Фриды. Снова беспечность.

— Товарищи, рад вас видеть, но не вот так — всех сразу. Это прямой путь в тюрьму и на смерть. Или соблюдаете конспирацию, или бросаете работу, потому что вы подвергаете опасности себя и других. Поняли?

— Поняли.

— Что принесли?

— Майский выпуск «Руде право».

— Отлично. А что у тебя, Мирек?

— Да как-то ничего нового. Работа идет хорошо...

— Ладно. Увидимся после Первого мая. Дам знать. И до свидания!

— Еще чаю, пан?

— Нет-нет, пани Елинкова, нас слишком много.

— Всего чашечку, прошу.

Из чашки с только что налитым чаем поднимается пар.

Звонок в дверь.

Так поздно? Кто это?

Гости не из терпеливых. Колотят в дверь

— Откройте! Полиция!

— Быстро к окнам! Бегите! У меня пистолет, я прикрою.

Поздно! Под окнами гестаповцы — стоят и целятся из пистолетов. Через выбитую входную дверь агенты тайной полиции врываются в кухню, потом в комнату. Один, двое, трое, девять. Меня не видят: стою за распахнутой дверью, прямо за ними. Мог бы стрелять. Но девять пистолетов наведены на двух женщин и трех безоружных мужчин. Выстрелю — их тут же убьют. Самому застрелиться — станут жертвами перестрелки. Не стану стрелять — посидят в тюрьме полгода, может быть год, до восстания, которое их освободит. Только мне с Клецаном не выбраться. Нас будут пытать — от меня ничего не узнают, но вот от Клеца-на? Человек, который сражался в Испании, два года провел в концлагере во Франции и нелегально

пробрался оттуда в Прагу в разгар войны, — нет, такой не предаст. У меня две секунды на размышление. Или, может быть, три?

Выстрелю — избавлю себя от пыток, но пожертвую жизнями четырех товарищей. Так ведь? Так! Решено.

Выхожу из укрытия.

— Еще один!

Первый удар по лицу. Что ж, таким можно уложить прямо на месте.

— Hände auf!*

Второй удар. Третий.

Именно так я себе это и представлял.

Идеально прибранная квартира превращается в груды сломанной мебели и битой посуды.

Снова бьют — кулаками, ногами.

— Марш!

Бросают в машину. На меня постоянно наведены пистолеты. Дорогой начинают допрос.

— Кто ты такой?

— Профессор Горак.

— Врешь!

Пожимаю плечами.

— Сиди смирно — или стреляю!

— Стреляйте!

Вместо выстрела — удар кулаком.

Проезжаем мимо трамвая. Мне кажется или он действительно весь в белых гирляндах? Свадеб-

* Руки вверх! (нем.)

ный трамвай? Сейчас? Ночью? Наверное, у меня жар.

Дворец Печека. Думал, что живым сюда не войду, а теперь едва не бегом поднимаюсь на четвертый этаж. Ага, знаменитый отдел II-A-1 по борьбе с коммунизмом. Становится любопытно.

Долговязый, худой комиссар, руководящий облавой, сует пистолет в кобуру и ведет меня в кабинет. Угощает сигаретой.

— Ты кто?

— Профессор Горак.

— Врешь!

Часы у него на запястье показывают одиннадцать.

— Обыскать!

Начинается обыск. С меня срывают одежду.

— Есть удостоверение личности.

— На чье имя?

— Профессора Горака.

— Проверить!

Телефонный звонок.

— Ну, разумеется, нет такого. Удостоверение — фальшивка!

— Где тебе его выдали?

— В полицейском управлении.

Удар дубинкой. Другой. Третий. Нужно ли мне вести счет ударам? Зачем, дружище? Вряд ли тебе когда-нибудь понадобятся эти цифры.

— Как зовут? Говори! Где живешь? Говори! С кем встречался? Говори! Явки? Говори! Говори! Говори! Или сровняем с землей!

Сколько ударов способен вынести здоровый мужчина?

По радио передают сигнал полуночи. Кафе закрываются, припозднившиеся посетители расходятся по домам, влюбленные перед воротами никак не могут расстаться. В кабинет с веселой улыбкой возвращается долговязый, худой комиссар.

— Все в порядке, пан редактор?

Кто сообщил? Елинеки? Фриды? Им даже неизвестно, как меня зовут.

— Видишь, нам все известно. Говори! Будь благоразумным.

Станный словарь! Будь благоразумным, то есть предай.

Буду неблагоразумным.

— Связать! И добавить!

Час ночи. По опустевшим улицам тащатся последние трамваи, радио желает спокойной ночи своим самым преданным слушателям.

— Кто, кроме тебя, состоит в Центральном комитете? Где радиопередатчики? Типографии? Говори! Говори! Говори!

Снова могу бесстрастно считать удары. Единственная боль, которую чувствую, — в прокушенных до крови губах.

— Разувайся!

И правда, в ступнях боль пока ощутима. Чувствую. Пять, шесть, семь... кажется, что дубинка достает до самого мозга.

Два часа ночи. Прага спит, разве что где-то во сне бормочет ребенок да муж приласкает жену.

— Говори! Говори!

Провожу языком по деснам: пытаюсь сосчитать оставшиеся зубы. Не выходит. Двенадцать, пятнадцать, семнадцать? Нет. Это меня допрашивают столько гестаповцев. Некоторые, наверное, устали. А смерть все не приходит.

Три часа ночи. В город с окраин пробирается раннее утро, к рынкам съезжаются зеленщики, на улицы выходят дворники. Живу надеждой, что встречу еще одно утро.

Привозят мою жену.

— Знаете его?

Глотаю кровь, чтобы не увидела... Глупость, конечно, потому что кровь повсюду: течет по лицу и даже капает с кончиков пальцев.

— Знаете его?

— Нет!

Ответила — и даже взглядом не выдала ужаса. Дорогая моя! Сдержала обещание не признаваться, что мы знакомы, хотя сейчас в этом нет никакого смысла. Кто же меня все-таки выдал?

Жену уводят. Прощаюсь с ней самым веселым взглядом, на какой только способен. Возможно, он совсем не таков. Не знаю.

Четыре часа утра. Уже светает? Или еще рано? Затемненные окна не дают мне ответа. И смерть все никак не приходит. Нужно шагнуть ей навстречу? Как?

Бью кого-то. Меня толкают на пол. Пинают ногами. Топчут. Отлично, теперь дело пойдет быстрее. Черный комиссар дергает меня за бороду и, показывая клоч выдранных волос, довольно смеется. Действительно смешно. Больше вообще не чувствую боли.

Пять, шесть, семь, десять часов, полдень... Рабочие идут на работу и с работы, дети идут в школу и из школы, в магазинах торгуют, в домах готовят обед, возможно, мать вспоминает обо мне, товарищи, наверное, уже знают, что я арестован, и, может быть, принимают меры предосторожности... на случай, если заговорю... Не тревожьтесь — я ничего не скажу, поверьте!

Наверное, конец уже близок. Все это сон, кошмарный, горячечный сон. Мелькают кулаки, потом лется вода... И опять удары, и опять «говори, говори, говори!». А я все никак не могу умереть. Мать, отец, зачем я родился таким сильным?

Послеобеденное время. Пять часов вечера. Все устали. Бьют редко, с длинными паузами, больше по инерции. И вдруг откуда-то издалека, из бесконечной далекой дали тихо звучит нежный, ласковый голос:

— Er hat schon genug!*

И вот я сижу, и стол передо мной словно движется взад-вперед, и кто-то наливает мне воды, кто-то предлагает сигарету, которую я не в силах

* Хватит с него! (нем.)

удержать, кто-то силится меня обуть и сообщает, что ботинки не налезают. И вот меня наполовину ведут, наполовину несут по коридору, по лестнице вниз. Садимся в автомобиль, едем, кто-то снова наводит на меня пистолет — а мне смешно, снова проезжаем мимо трамвая, мимо свадебного трамвая — он весь в белых гирляндах, — но, наверное, все это сон, лихорадочный бред, агония или, вернее, сама смерть. Ведь умирать тяжело, а вот это — это совсем не так, это легко, словно перышко, еще один вдох — и всему конец.

Всему конец? Нет, все еще нет. Снова стою, в самом деле стою — сам, без посторонней помощи, — а прямо передо мной грязная желтая стена, забрызганная — чем? — кажется, кровью. Да, это кровь. Поднимаю руку, пробую размазать пальцем — получается. Кровь свежая, моя.

И вот кто-то дает мне затрещину, приказывает поднять руки и приседать — на третьем приседании падаю...

Прямо надо мной долговязый эсэсовец. Силится поднять меня пинками — напрасно, снова кто-то льет на меня воду, снова сижу, какая-то женщина дает мне лекарство, спрашивает, где болит, и мне кажется, что вся моя боль у меня в сердце.

— Нет у тебя сердца, — говорит долговязый эсэсовец.

— Нет, есть! — отвечаю я и вдруг чувствую гордость оттого, что у меня хватает сил, чтобы встать за собственное сердце.

И вот снова все исчезает: стена, женщина с лекарством, высокий эсэсовец...

Передо мной открытая дверь. Жирный эсэсовец втаскивает меня в камеру, стягивает порванную в клочья рубашку, укладывает на солому и, ощутив мое опухшее тело, приказывает сделать примочки.

— Посмотри-ка, — говорит он другому и качает головой, — посмотри, на что там способны!

И снова откуда-то издалека, из бесконечной далекой дали тихо звучит нежный, ласковый голос:

— Не доживет до утра.

Еще пять минут — и часы пробьют десять. Прекрасный теплый весенний вечер 25 апреля 1942 года.

Глава 2

Агония

*...Когда в глазах померкнет свет
И дух покинет плоть...*

Двое мужчин, опустив сложенные точно в молитве руки, тяжелым, размеренным шагом ходят кругами под белыми сводами склепа и протяжными, нестройными голосами тоскливо тянут церковную песнь.

Кто-то умер. Кто? Пробую повернуть голову. Наверное, увижу гроб с покойником, а в его изголовье — две горящие, торчащие вверх, точно указательные пальцы, свечи.

*Туда, где мрака ночи нет,
Нас призовет Господь...*

С трудом разлепляю глаза. Никого не вижу. Никого нет — только эти двое и я. Кому же они поют отходную?

*Туда, где светится всегда
Господняя звезда.*

Похороны. Определенно похороны. Кого же хоронят? Кого же? Здесь только эти двое... и я. Меня?!

Неужели это мои похороны? Эй, послушайте, это недоразумение! Ведь я не умер — я жив! Видите, смотрю на вас, обращаюсь к вам. Прекратите! Не хороните меня!

*Сказав последнее «прости»
Всем тем, кто дорог нам.*

Не слышат. Они что, глухие? Или я говорю слишком тихо? Или взаправду умер и им не слышен голос с того света? И я лежу тут пластом и наблюдаю за собственными похоронами? Смешно.

*Мы с упованием свой взгляд
Подъемлем к небесам.*

Начинаю вспоминать. Кто-то с трудом поднимал меня, одевал, тащил на носилках — гулкий шаг тяжелых, кованых сапог разносился по этажам... Потом... потом ничего... Больше ничего...

*Туда, где мрака ночи нет...**

Какая-то бессмыслица. Я живу. Смутно ощущаю боль, жажду. Разве мертвым хочется пить? Изю всех сил пытаюсь пошевелить рукой. Чей-то чужой, неестественный голос просит:

— Пить!

Наконец-то! Двое мужчин перестают ходить кругами и склоняются надо мной; один поднимает мне голову и подносит к губам кружку с водой.

* Перевод Т. Аксель и В. Чешихиной. Цит. по изд.: Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее. — М.: Гослитиздат, 1953.

— Сынок, нужно поест. Ты уже двое суток только пьешь да пьешь.

Что он сказал? Уже двое суток? Какой сегодня день?

— Понедельник.

Понедельник. Арестовали меня в пятницу. Как тяжела голова! И как освежает вода. Спать! Дайте поспать! Капля замутила чистую водную гладь. Это родник на лугу, в горах, я знаю, в роще под Рокланом... мелкий дождь не переставая шумит в хвойном лесу... как сладко спать...

Когда я снова просыпаюсь, уже вечер вторника. Надо мной собака. Овчарка. Смотрит на меня испытующим умным взглядом и спрашивает:

— Где живешь?

Нет, это не собака. Чей это голос? Кто-то еще надо мной... Вижу пару сапог и еще одну пару... форменные брюки... но, как бы мне ни хотелось, поднять взгляд не выходит: голова кружится. Да какая разница, дайте поспать...

Среда.

Двое мужчин, распевавших псалом, сидят за столом и едят из глиняных мисок. Теперь я их различаю. Молодой и постарше, вроде не монахи. И склеп вовсе не склеп, а тюремная камера. Тюремная камера, как и любая другая: дощатый пол, тяжелая темная дверь...

В замке гремит ключ — двое мужчин вскакивают и вытягиваются по стойке смирно, входят двое в эсэсовской форме и приказывают меня одеть. Прежде

я и не знал, сколько боли таится в каждой штанине, в каждом рукаве. На носилках меня несут по лестнице вниз, гулкий шаг тяжелых, кованых сапог разносится по этажам — этим путем меня уже несли, и несли без сознания. Куда ведет этот путь? В какую преисподнюю?

В полутемную неприветливую канцелярию тюрьмы Панкрац.

Носилки ставят на пол, и притворно-добродушный голос переводит раздраженный немецкий рык: — Знаешь ее?

Подпираю подбородок рукой. Перед носилками стоит круглолицая девушка. Стоит выпрямившись, высоко подняв голову, стоит гордо — не упрямо, а гордо... только взгляд чуть опущен, ровно настолько, чтобы видеть меня и приветствовать.

— Нет.

Помню, видел ее однажды, может быть мельком, в ту безумную ночь во дворце Печека. Сегодня мы с ней видимся снова. Третьего раза, увы, уже не будет, мне не доведется пожать ей руку за то, что держалась с таким достоинством. Жена Арношта Лоренца. Расстреляют ее в 1942 году, в первые дни военного положения.

— Но с этой-то вы точно знакомы...

Аничка Ираскова! Бога ради, Аничка, ты-то сюда как попала? Я не называл твоего имени, со мной ты никак не связана... Не знакомы мы с тобой, понимаешь, не знакомы!

— Нет.

— Подумай еще раз!

— Нет.

— Юлик, нет смысла, — говорит Аничка и только едва уловимым движением пальцев, сжимающих платок, выдает волнение, — нет смысла. Меня сдали.

— Кто?

— Молчать! — не дают ей ответить и, когда она, наклонившись, протягивает ко мне руку, с яростью отталкивают.

Аничка!

Больше ничего не слышу. Только, словно со стороны, совсем не чувствуя боли, наблюдаю, как два эсэсовца несут меня обратно в камеру, как, грубо стряхнув с носилок, со смехом интересуются, не предпочту ли я покачаться в петле.

Четверг.

Начинаю воспринимать окружающих. Одного сокамерника, того, что молодой, зовут Карел; другой, постарше, называет себя «отец». Рассказывают о себе, но в голове у меня все путается — какая-то шахта, чьи-то дети по лавкам; колокольный звон: наверное, где-то пожар; говорят, что доктор и фельдшер-эсэсовец бывают тут ежедневно, что я не так плох, как кажется, и что снова буду молодцом. Это слова «отца»; он так убедителен, а Карел настолько охотно ему вторит, что даже в таком состоянии понимаю, как им хотелось бы, чтобы я поверил в эту святую ложь. Какие хорошие товарищи! Жаль, что я не верю.

Послеобеденное время.

Открывается дверь, и тихо, словно на цыпочках, в камеру вбегает собака. Останавливается у моей головы, внимательно меня осматривает. И снова две пары сапог (уже знаю, что одна — это ее хозяин, начальник тюрьмы Панкрац, другая — начальник отдела гестапо по борьбе с коммунистами, руководитель того ночного допроса) и... штатские брюки. Пробегаю по ним взглядом, поднимаю глаза... и узнаю — да, тот самый долговязый, худой комиссар, возглавлявший облаву. Устраивается на стуле, начинает допрос:

— Все кончено, спаси хотя бы себя. Говори!

Угощает меня сигаретой. Отказываюсь. Не смогу ее удержать.

— Как долго ты жил у Баксов?

У Баксов! Еще и это! Кто рассказал?

— Видишь, нам все известно. Говори!

Ну, если им все известно, зачем говорить... Жизнь я прожил не зря, зачем портить ее под конец?

Допрос длится час. Комиссар не кричит, всё повторяет и повторяет за вопросом вопрос. Не получает ответа и спрашивает во второй раз, третий, десятый.

— Неужели не понимаешь? Все кончено, кончено для всех вас.

— Только для меня.

— Все еще веришь в победу коммунистов?

— Конечно.

— Все еще веришь, — спрашивает по-немецки гестаповец, а долговязый комиссар переводит, — все еще веришь в победу России?

— Конечно. По-другому и быть не может.

Я выдохся. Держался изо всех сил, чтобы быть начеку, но теперь сознание угасает быстро, словно кровь вытекает из глубокой раны. Ощущаю, как ко мне тянут руку: наверное, заметили печать смерти у меня на лице. Точно, в некоторых странах у палачей принято целовать осужденного перед казнью.

Вечер.

Двое мужчин, опустив сложенные точно в молитве руки, тяжелым, размеренным шагом ходят кругами и протяжными, нестройными голосами тоскливо тянут церковную песнь.

*...Когда в глазах померкнет свет
И дух покинет плоть...*

Люди, люди, остановитесь! Песнь, может быть, неплоха, но сегодня... сегодня канун Первомая, самого прекрасного, самого радостного праздника! Пытаюсь напеть что-то веселое... Наверное, выходит совсем худо, потому что Карел отводит глаза, а «отец» утирает слезу. Ну и пусть! Я не сдамся. Продолжаю — и они вступают следом. Довольный, засыпаю.

Раннее утро Первого мая.

Часы на тюремной башне бьют три. Впервые так ясно слышу бой часов. Впервые после ареста нахожусь в полном сознании. Окно открыто — и я чувствую, как свежий воздух овеивает лежащий на полу соломенный тюфяк, чувствую, как стебли соломы одна за другой впиваются мне в грудь и в живот, —

каждая клеточка тела ноет на тысячу разных ладов, становится тяжело дышать. Внезапно, словно светом из распахнувшегося окна, меня озаряет: это конец. Я умираю.

Долго же, смерть, ждал я твоего прихода! Но, надо признаться, рассчитывал встретиться с тобой лицом к лицу еще через много лет. Думал, что проживу свободным, что, как и прежде, буду много работать, много любить, много петь и бродить по свету. Ведь я едва-едва успел достичь зрелости, и у меня оставалось еще много-много сил. Но их больше нет. Это конец.

Я любил жизнь и ради этой любви стал бороться. Любил вас, люди, и был счастлив, когда вы отвечали мне взаимностью, страдал, когда не отвечали любовью. Кого обидел — простите, кого порадовал — не печальтесь! Пусть мое имя ни у кого не вызывает печали. Вот мой завет вам, отец и мать, сестры, тебе, моя Густина, вам, товарищи, всем тем, кого я любил. Если слезы помогут смыть с глаз пелену печали, плачьте! Но не жалейте меня! Не нужно! Жил я с радостью, умираю ради нее, и было бы несправедливо поставить на моей могиле ангела печали.

Первое мая! В эти часы мы собирались на городских окраинах и разворачивали знамена. В эти часы первые шеренги парада в честь Первомая уже шагают по улицам Москвы. В эти часы миллионы людей ведут последний бой за свободу человечества. Тысячи падут в этой борьбе. Я среди них. Участво-

вать в самой последней битве — разве это не прекрасно?!

Но в агонии нет ничего прекрасного. Задыхаюсь. Воздуха не хватает. Слышу собственный хрип и клокотанье в горле. Чего доброго, разбужу сокамерников. Что, если смочить горло глотком воды?.. Кувшин пуст, но там, всего в шести шагах от меня, в углу камеры, в унитазе вода есть. Хватит ли у меня сил туда добраться?

Ползу на животе, тихо-тихо, словно все героичество противостоять смерти в том, чтобы не разбудить никого напоследок. Дополз. Жадно пью воду со дна унитаза.

Не знаю, сколько времени на это уходит, не знаю, сколько времени ползу обратно. Сознание снова уплывает. Ищу у себя пульс. Не нахожу. Сердце, стучавшее высоко в горле, срывается вниз. Срываюсь за ним. Слышу голос Карела:

— «Отец», «отец», проснись! Бедолага кончается.

Утром приходит врач (обо всем этом я узнал много позже), осматривает меня, мотает головой, вернувшись в лазарет, рвет заполненный накануне рапорт о моей смерти и говорит с уверенностью специалиста:

— Лошадиное здоровье!

Глава 3

Камера 267

Семь шагов от двери до окна, семь шагов от окна до двери.

Знакомо.

Сколько раз я мерил шагами дощатые полы тюремных камер в Панкраце! Быть может, именно в этой сидел, когда слишком настойчиво отстаивал право судетских немцев на самоопределение и слишком ясно видел, насколько губительна для чехов политика бюргеров-националистов. Теперь мой народ распинают на кресте, перед камерами ходят надзиратели — судетские немцы, а где-то снаружи слепые пряжи политических судеб снова тянут ненавистные нити. Сколько сотен лет нужно человечеству, чтобы прозреть? Через сколько тысяч камер пройти, чтобы наконец двинуться к прогрессу? Сколько еще их ждет впереди? О нерудовский Христос, святое дитя, «путь, ведущий всех смертных к спасенью» так и не пройден; хватит спать, хватит спать!*

* Ср.: Я. Неруда. «Рождественская колыбельная» (1896), пер. Б. Слущкого. — *Прим. ред.*

Семь шагов туда, семь обратно. На одной стене откидная койка, на другой — неказистая коричневая полка с глиняной посудой. Да, знакомо. Кое-что, правда, механизировали: теперь тут центральное отопление и унитаз вместо параша... И, главное, людей, людей механизировали! Они словно роботы*. Нажал кнопку, погремел ключом в дверях, глянул в «глазок» — и заключенные вскакивают, что бы ни делали, один за другим вытягиваются по струнке... Открыл дверь — и старший по камере выпаливает на одном дыхании:

— Achtung! Celecvózíbnzechcikbelegtmittrajmanal esinordnung**.

В 267-й. В нашей камере. Но в 267-й механизм не отлажен. Всканивают двое — я все лежу на соломенном тюфяке под окном. Лежу пластом неделю, две, месяц, полтора — и вот, словно родившийся заново, уже поворачиваю голову, уже поднимаю руку, уже приподнимаюсь на локтях и даже пробую перевернуться на спину... Легче описать, чем прожить.

Меняется и камера. Вместо тройки на двери теперь двойка: мы остались вдвоем — больше нет Карела, младшего из тех, что пели по мне панихиду.

* Понятие появилось в 1920 г. у К. Чапека в значении «механические люди». Первоначально они были названы «лаборами» от латинского слова labor — «работа». Но затем по совету брата Чапек поменял название на robot от чешского слова robota — «тяжелый принудительный труд». — *Прим. ред.*

** — Смирно! В двести шестьдесят седьмой трое заключенных, все в порядке (*искаж. нем.*).

Со мной только воспоминания о его добром сердце. Да и помню я его смутно — только два последних дня вместе с нами: он в который раз терпеливо рассказывает мне свою историю, я в который раз засыпаю посреди его рассказа.

...Карел Малец, механик, работал у клетки на руднике где-то под Гудлице, привозил оттуда взрывчатку подпольщикам. Арестован около двух лет назад. Сейчас его ждет суд, скорее всего в Берлине, где таких, как он, много... кто знает, чем все закончится... женат, двое детей, любит их, очень любит... «но это мой долг, разве я мог поступить иначе»...

Он подолгу сидит возле меня — пытается накормить. Я не ем. В субботу — неужели пошел восьмой день? — он решает на крайнюю меру: докладывает местному эскулапу, что я не ел все это время. Вечно чем-то озадаченный эсэсовец, без ведома которого врач-чех не назначит даже аспирин, приносит в кружке больничную похлебку и стоит у меня над душой, пока всю не выпью. Карел, очень довольный успехом своего начинания, назавтра сам вливает в меня кружку воскресного супа.

Но дальше дело не идет. Разбитые десны не дают мне прожевать даже разваренную картошку из воскресного гуляша, а распухшее горло — проглотить мало-мальски твердый кусок.

— Даже гуляш, даже гуляш не хочет, — грустно качая головой, сетует Карел, а потом, честно поделившись с «отцом», с аппетитом принимается за мою порцию.

Эх вы, те, кто не был в сороковые в Панкраще, вы не понимаете, просто не способны понять, что такое гуляш! Постоянно — даже в самые тяжелые дни, когда в желудке ревело от голода, а люди в бане напоминали обтянутые кожей скелеты, когда товарищ глазами ел твою пайку, когда отвратительная каша с сушеными овощами, приправленная томатной жижей, казалась деликатесом, — постоянно, даже в самые тяжелые дни, дважды в неделю — по четвергам и по воскресеньям — на кухне в наши миски насыпали картошку и заливали ее ложкой гуляша с парой-тройкой волокон мяса. Сказочный вкус! Но дело не только во вкусе: гуляш был осязаемым напоминанием о мирной жизни, чем-то нормальным, противоположностью жестокой ненормальности гестаповской тюрьмы... о нем говорили с нежностью, с восторгом. Эх, кто бы понял, до чего была дорога ложка хорошего соуса — приправы к ужасу постоянной агонии!

Два месяца спустя я и сам хорошо понимал, до чего был расстроен Карел. Я даже гуляша не хотел — что, как не это, могло убедить его в моей скорой смерти!

Той ночью, в два часа, Карела разбудили и, словно ему предстояло ненадолго отлучиться, словно перед ним не лежал путь на край света — в другую тюрьму, в концлагерь, на эшафот... кто знает, — приказали за пять минут подготовиться к транспортировке. Карел встал на колени у соломенного тюфяка, взял меня за голову, поцеловал — из коридора раздался резкий окрик головореза в форме, дескать, чувствам

нет места в Панкраце, — Карел скрылся за дверью, замок щелкнул...

...и в камере остались только двое.

Увидимся ли мы снова, дружище? Когда ждать очередного прощания? Кто из двоих оставшихся уйдет первым? Куда? Кто его призовет? Надзиратель в эсэсовской форме? Или смерть, что не носит формы?

Когда я пишу эти строки, во мне живут только отголоски мыслей, волновавших нас в то самое первое расставание. Минул год, и мысли вслед ушедшему товарищу повторялись то с большей, то с меньшей настойчивостью. Двойка на двери камеры превращалась в тройку и снова становилась двойкой, потом снова тройкой... и снова двойкой, тройкой, двойкой. Приводили новых товарищей по заключению и уводили их — и только мы двое из камеры 267 никак не могли расстаться.

«Отец» и я.

* * *

«Отец» — шестидесятилетний учитель Йозеф Пешек, глава учительского совета. Арестован за восемьдесят пять дней до меня за заговор против Рейха — разработку проекта о реформе чешской школы.

«Отец» — он...

Как напишешь о нем? Ну же, дружище! Тебе предстоит тяжкий труд. Одна камера на двоих — и так на протяжении целого года! Исчезнут кавычки у прозвища «отец» — и двое заключенных разного

возраста по-настоящему станут отцом и сыном. Мы перейдем друг у друга привычки, излюбленные присказки и интонацию. Попробуй-ка, догадайся, что мое, а что отца, с чем он пришел в камеру и что принес с собой я!

Ночами он бодрствовал надо мной и отгонял смерть примочками, когда та приближалась. Усердно очищал раны от гноя, не давая понять, что чувствует запах гнили, застоявшийся вокруг соломенного тюфяка. Стирал и чинил рубаху, превратившуюся в лохмотья еще при первом допросе, и, когда она развалилась, натянул на меня свою. Рискаю получить наказание, принес мне маргаритку и стебелек травы, которые сорвал во время утренней получасовой прогулки во дворе Панкраца. Когда я шел на допрос, провожал меня ласковым взглядом, а когда я возвращался, ставил новые примочки на новые раны, дожидался, пока не вернусь с ночных дознаний, укладывал на тюфяк и заботливо закутывал в одеяло.

Так началась наша дружба. Ничего не изменилось и потом, когда я встал на ноги и начал выплачивать сыновний долг.

Вот так, за один прием, не напишешь, дружище. В тот год в камере 267 царило оживление, и все, что случалось, по-своему переживал и отец. Обо всем этом следует рассказать. И история пока не окончена. (В последней фразе даже живет надежда.)

В камере 267 царит оживление. Едва ли не каждый час дверь отворяется: заглядывают надзиратели. Действуют они в четких рамках наблюдения за крупным коммунистическим преступником, но также и из-за простого любопытства. В Панкратце часто умирали те, кто не должен был умереть. Но редко когда не умирал тот, чью смерть все ожидали. Заглядывают и надзиратели с других этажей; заводят разговор или, молча откинув одеяло, со знанием дела оглядывают раны, после чего либо отпускают циничную шутку, либо переходят на дружеский тон. Один из них — давайте назовем его Пекарь — приходит чаще остальных и, широко улыбаясь, интересуется, не нужно ли чего-нибудь «красному дьяволу». Спасибо, но нет, ничего не нужно. Несколько дней спустя Пекарь обнаруживает, что «красному дьяволу» все-таки нужно побриться, и приводит парикмахера.

Это первый заключенный не из нашей камеры, с которым я тут знакомлюсь. Товарищ Бочек. Но добросердечный Пекарь оказывает мне медвежью услугу. Отец поддерживает мне голову, а товарищ Бочек, стоя на коленях у тюфяка, старается тупой бритвой прорубить тропу в «буковых зарослях». Руки у него трясутся, в глазах стоят слезы: он убежден, что бреет покойника. Пытаюсь его успокоить:

— Мужайся, дружище, если я пережил допрос во дворце Печека, то, верно, переживу и твое бритье.

Но сил у меня мало, поэтому обоим приходится делать передышку.

Спустя пару дней знакомлюсь с двумя другими заключенными. Панам комиссарам из дворца Печека неймется — за мной посылают. И, так как фельдшер изо дня в день пишет на вызове «Transportunfähig»*, распоряжаются доставить меня на допрос любым способом. И вот двое заключенных в униформе коридорных, или «хаусбайтеров», ставят носилки у нашей двери. Отец с трудом натягивает на меня одежду, меня кладут на носилки и несут. Один из «хаусбайтеров» — товарищ Скоржепа, в будущем заботливый папаша целого этажа, другой — ...** Когда меня тащат по лестнице вниз и я начинаю сползать с носилок, он наклоняется ко мне и просит:

— Держись!

И уже тише:

— Что бы ни случилось!

В канцелярии мы не задерживаемся. Меня несут дальше, по длинному коридору к выходу... в коридоре полно народу: сегодня четверг, когда родным разрешается забирать в стирку белье заключенных... Все смотрят на безрадостную процессию — в глазах сочувствие. Мне это не нравится, и я, подтянув руку к голове, сжимаю кулак. Надеюсь, все увидят и поймут, что это приветствие. Может быть, глупость

* «Нетранспортабелен» (нем.).

** Имя в рукописи не указано. — Прим. ред.

с моей стороны, но на большее я не способен... на большее у меня пока не хватает сил.

Во дворе Панкраца носилки ставят в грузовик, двое эсэсовцев садятся рядом с водителем, еще двое — рука на расстегнутой кобуре — встают возле моей головы. И мы едем. Дорога далеко не образцовая: один ухаб, другой — не проезжаем и двухсот метров, как я теряю сознание. Езда эта по пражским улицам забавна: пятитонка на тридцать заключенных расходует бензин на одного, спереди двое эсэсовцев, еще столько же позади — у каждого по пистолету — хищно поглядывают на полумертвое тело, чтобы оно не сбежало.

На следующий день забава повторяется, но я держусь до дворца Печека. Допрос длится недолго. Комиссар Фридрих несколько раз неосторожно прикасается ко мне — и меня без памяти увозят обратно.

Наступают дни, когда у меня не остается сомнений в том, что я жив. Боль, родная сестра жизни, очень ясно дает это понять. Даже в Панкраце узнают, что я по какому-то недосмотру выжил, и вот приходят первые приветствия — перестук через толстые стены, взгляды коридорных, раздающих еду.

Только жена моя обо мне ничего не знала. Сидя в одиночке, всего на этаж ниже, через три-четыре камеры от меня, тревожилась и надеялась, пока на утренней получасовой прогулке соседка не шепнула, что меня больше нет, что я скончался от ран, полученных на допросе. Густина брела по двору, перед глазами у нее все плыло, и она даже не чув-

ствовала, как надзирательница «утешает» ее кулаками и пытается загнать в строй, чтобы не нарушала тюремную дисциплину. Что видела она, без слез глядя на белые стены темницы? А назавтра до нее дошла другая весть: меня не забили до смерти, но я не вынес пыток и повесился в камере. И все это время я словно колода лежал на убогом тюфяке, но каждый вечер и каждое утро упрямо поворачивался на бок, чтобы петь для Густины те песни, которые она так любила. Как же она могла их не слышать, когда я вкладывал в них столько чувства?!

Теперь она уже знает, теперь она уже слышит, хотя мы дальше друг от друга, чем тогда. Теперь и тюремные надзиратели знают и свыклись с тем, что в камере 267 поют, и даже не стучат в дверь, чтобы утихомирить.

В камере 267 поют. Я пою всю свою жизнь и не понимаю, с какой стати мне останавливаться сейчас, в самом ее конце, когда биение сердца ощущается необычайно остро. Что насчет отца Пешека? Ну, это особый случай! Он страстный любитель петь. Не имея ни слуха, ни голоса, ни музыкальной памяти, он поет с такой крепкой и преданной страстью и находит в этом столько радости, что даже я не замечаю, как он перескакивает с одной тональности на другую и упрямо берет «соль» там, где настойчиво просится «ля». И мы поем, когда душу бередит тоска, поем, когда выдается удачный день, поем, чтобы проводить товарища, с которым вряд ли снова увидимся, поем, чтобы приветствовать хорошие вести о боях

на Востоке, поем для утешения, для радости — поем так, как пели люди в давние времена и будут петь до тех, пока не перестанут быть людьми.

Без песни нет жизни, как нет жизни без солнца. Нам песня нужна вдвойне: к нам солнце не заглядывает. Окно камеры 267 выходит на север, и только летом на закате на восточной стене солнечный луч рисует тень от решетки. Отец Пешек стоит, облокотившись на койку, и наблюдает за его мимолетным визитом... Самое печальное зрелище, какое только можно тут увидеть.

Солнце! Так щедро светит этот круглый волшебник, столько чудес творит на глазах у людей. Но так мало людей согрето его лучами. Но все переменится. Солнце продолжит светить, и люди будут согреты его лучами. Как чудесно знать об этом! Но нам хотелось бы знать и еще кое о чем, несоизмеримо менее важном: продолжит ли оно светить и для нас?

Окно нашей камеры выходит на север. Только изредка летом, когда выдается погожий день, мы видим закат. Эх, отец, хотелось бы мне когда-нибудь снова увидеть рассвет.

Содержание

<i>Предисловие Густы Фучиковой</i>	5
Глава 1. Двадцать четыре часа	9
Глава 2. Агония	19
Глава 3. Камера 267	29
Глава 4. «Четырехсотка»	41
Глава 5. Люди и людишки	61
Глава 6. Осадное положение. 1942 г.	91
Глава 7. Люди и людишки — II (Панкрац)	99
Глава 8. Немного истории	127
<i>Цитаты</i>	139